

Часть вторая

Религиозным философом Рудольфом Штейнером, основоположником антропософского учения, была выдвинута идея, что прожитый человеком отрезок от рождения до смерти – лишь незначительная часть его вечного существования. Человек не впервые живёт в этом мире, он уже существовал в нём некогда, о чём свидетельствует человеческая интуиция. Она-то и связывает человека с вечностью, с пра- историей, опыт которой откладывается в подсознании. Категория вечности давала опору людям слабым, неудачникам, не нашедшим себя в действительной жизни. Теория Штейнера давала надежду обрести себя заново, в ином существовании.



Человек привыкает
ко всему, ко всему.
Каждый год получает
по письму, по письму.
Это в белом конверте
ему пишет зима.
Обещанье бессмертья –
содержанье письма.

(А.Кушнер)



Есть ли жизнь на том свете? Наверное, нет поэта, который бы над этим не задумывался, не пытался как-то для себя ответить на этот вопрос. Фёдор Сологуб попытался сделать это буквально. После похорон жены он заперся у себя в кабинете и две недели никуда не выходил и никого не принимал. Когда же, опасаясь за жизнь и рассудок поэта, к нему заглянули, то увидели Сологуба за столом, заваленным листками бумаги с каким-то цифрами, уравнениями. «Это дифференциалы», – спокойно пояснил он. Математик по профессии, он решил с помощью дифференциалов проверить, вычислить, существует ли загробная жизнь. И проверил. И убедился, что существует. Он стал снова появляться в Доме литераторов – спокойный, даже повеселевший. Причиной хорошего настроения стала уверенность в неминуемой встрече с Анастасией. Скоро он с ней соединится. Уже навсегда.



Мой ангел будущее знает,
но от меня его скрывает,
как день томительный сокрыл
безмерности стремлений бурных
под тению своих лазурных,
огнями упоённый крыл.
Я силой знака рокового
одно сумел исторгнуть слово
от духа горнего, когда
сказал: «От скорби каменею!
Скажи, соединюсь ли с нею?»
И он сказал с улыбкой: «Да».



Сологуб не выносил грубой жизни, он мог бы сказать про себя вместе с Достоевским, что чувствует себя так, как будто с него содрана кожа. Всякое прикосновение извне отзывается в нём мучительной болью. Жизнь представляется Сологубу румяной и дебелий бабицей – Евой, в отличие от прекрасной лунной Лилит – его мечты. Она кажется ему вульгарной, пошлой, лубочной. Поэт хочет переделать её на свой лад, вытравить из неё всё яркое, сильное, красочное. У него вкус ко всему тихому, тусклому, беззвучному, бестелесному. Чем-то Сологуб в этом смысле напоминает Бодлера, который предпочитал накрашенное и набеленное лицо живому румянцу и любил искусственные цветы. Он боялся жизни и любил Смерть, имя которой писал с большой буквы и для которой находил нежные слова. Его называли Смертерадостным, рыцарем смерти.

Я холодной тропой одиноко иду,
я земное забыл и сокрытого жду, –
и безмолвная смерть поцелует меня,
и к тебе уведёт, тишиной осеня.



У Сологуба появляется культ смерти. Он создаёт миф о смерти-невесте, подруге, спасительнице, утешительнице, избавляющей человека от тягот и мучений.

О Смерть! Я твой. Повсюду вижу
одну тебя, – и ненавижу
очарование земли.
Людские чужды мне восторги,
сраженья, праздники и торги,
весь этот шум в земной пыли.

Но в последние годы жизни поэт стал иным. Стихи последних лет отмечены знаками смирения, умиления, тихой печали. И уже не к дьяволу он обращается в них, а к Богу.



Подыши ещё немного
тяжким воздухом земным,
бедный, слабый воин Бога,
весь истаявший, как дым.
Что Творцу твои страданья?
Капля жизни в море лет!
Вот – одно воспоминанье,
вот – и памяти уж нет...

Последние стихи его приближались своей мудростью к тютчевским, и сам он последние годы внешне разительно напоминал Тютчева. «Старик весь как-то просветлел, – писал А.Белый. – Он ищет людей, ласки, общения. Ему это нужно, хоть он и готов отрицать это. Перед смертью он силился вобрать всё в себя и на всё отозваться».

И просил я у милого Бога,
как никто никогда не просил –
подари мне ещё хоть немного
для земли утомительной сил.



Умирал он долго и мучительно. И тут только выяснилось, что этот «поэт смерти», всю свою жизнь её прославлявший, совсем не любил её и боялся. Он яростно отмахивался при разговорах на эту тему: «Да мало ли что я писал! А я хочу жить!» – и до последней минуты он цеплялся за жизнь уже ослабевшими руками, шепча стихи, как молитву:

У тебя, милосердного Бога,
много славы, и света, и сил.
Дай мне жизни земной хоть немного,
чтоб я новые песни сложил.

Но новых песен ему сложить уже не довелось.

Из многих стихов поэтов видно их явственное, почти физическое ощущение потустороннего мира. Как писал А.Кушнер:

Я готов под сомненью поставить честь
свою, впрочем, об этом и Еврипид
рассказал, и все древние: что-то есть,
что-то есть. Значит, кто-то за всем следит.

Тема жизни после смерти давно интересует писателей всех времён и народов. Она поднимается и в произведениях многих современных писателей, например, в повести Л.Улицкой «Казус Кукоцкого», не так давно удостоенной Букеровской премии, где действие во второй части книги происходит в потустороннем мире. Но у неё жизнь героев просто автоматически переносится в некую ирреальную пустыню, где всё почти так же, как на земле. Гораздо интереснее это решается в книге рассказов Людмилы Петрушевской «Найди меня, сон». Там жизнь героев так плавно переходит в иное измерение, что они порой сами не догадываются, что живут уже в нездешнем мире.



Причём в конце каждого рассказа даётся какое-то реальное объяснение мистическим моментам (сон, наркотический бред, состояние после наркоза на операции), то есть правда жизни не страдает, но при этом такие прорывы в экзистенциальные глубины и высоты человеческого сознания, такие потрясающие прозрения, что дух захватывает.

Когда читаешь эту книгу, кажется, что стоишь перед мерцающей поверхностью зеркала, за которой начинается тревожащий послежизненный мир. И, подчиняясь льющей мелодии окутывающих тебя слов, ты медленноходишь сквозь зеркало в запредельность, блуждаешь по его полутёмным лабиринтам, встречаешь жутковатых людей в гулких комнатах, говоришь с ними... Но в какой-то момент, будто опомнившись, быстро летишь назад, выпрыгиваешь из зеркала в нынешнюю жизнь, облегчённо вздыхаешь и – задумываешься о месте, в котором только что побывал. Идёт мучительное рождение главного человеческого вопроса: что нас ждёт за пределами смерти? А точнее – есть ли способ спасти свою душу?

Мне будет вечно сниться дождь
и шум листвы у изголовья
каких-то баснословных роц
бесчасья или безвековья.

Мне будет вечно сниться путь,
скрывающийся за холмами,
которым позабыл шагнуть,
как снится детский сон о маме.

Мне будет вечно сниться дождь
с почти расплывшейся страницы
и то, как ты меня зовёшь,
и я встаю, мне будет сниться.
(В.Соколов)



Мне приснился странный сон. Мама и её покойная подруга Галя. Утро. Я заглядываю в холодильник, там почти пусто. Собираюсь то ли на базар, то ли готовить завтрак. Спрашиваю маму, что они будут есть. Она как-то неуверенно мнётся, что-то неопределённое бормочет. Они переглядываются с Галей, не зная что ответить. И я вдруг догадываюсь о причине смущения: они ведь неживые и ничего не едят. А Галя приподымается с кровати и говорит мне истово: «Царствие тебе небесное!» Я прямо отшатнулась от неожиданности. «Вы что! – почти кричу. – Вы что, с ума сошли? Что Вы такое говорите!» – думая, – я ведь живая, живым этого не говорят. И задумываюсь: живая ли? Или ей что-то известно о том, что я скоро буду нежива?

До свиданья. Догорают свечи.
Как мне страшно уходить во тьму.
Ждать всю жизнь и не дожидаться встречи
и остаться ночью одному.

Я не могу читать без боли эти строки А.Вертинского. Мне сразу вспоминается отец, его страшная одинокая смерть, последнее одиночество мамы, брата. «Каждый умирает в одиночку» – есть такая книга, которую я прочитала ещё в детстве, ничего в ней не поняла, не запомнила, кроме этого названия, каким-то грозным пророчеством

запавшего в душу.

Вспомнила стишок-экспромт, который мне преподнесли слушатели после моей лекции «Смерть, где жало твоё?»:

Позвольте нам посметь в особый этот час
всю душу Вам открыть, прелестная пророчица:
мы слушаем про смерть, но вот глядим на Вас,
и хочется нам жить, и умирать не хочется!

Дай бы Бог соответствовать этому идеалу.

Мне часто в последнее время вспоминается брат, последние месяцы и недели его жизни. Наши кровати стояли напротив друг друга, и мне было не по себе видеть, как он часами лежал, скрестив руки на груди и уставив взгляд в потолок. «Ты что лежишь, как мертвец!» – одёргивала я его. Но мне и в голову не приходило тогда, что он действительно... что он репетировал свою смерть. Когда он отворачивался к стене, спинка кровати задевала за оконную раму и раздавался глухой стук, от которого я просыпалась. Меня это раздражало, злило.

А потом – когда его уже не было – ночью ветром толкало раму, она задевала за его кровать и – снова этот звук. Я просыпалась с готовыми сорваться с языка словами досады, а кровать напротив – пуста. И слова застревали в горле. «Он мне спать не давал. Он с рассветом вставал. А теперь – не вернулся из боя». – Для меня строки этой песни наполнены своим смыслом.

Тогда по телевизору – это был 1969 год – по воскресеньям шла передача Иванова и Трифонова «Будьте счастливы». Мы смотрели её с Лёвкой. «Будьте, пожалуйста, счастливы», – лучезарно улыбаясь, уговаривали ведущие с экрана, когда я тупо уставилась в него на другой день после похорон. В первый раз меня поразило несоответствие окружающей жизни моему горю. Всё идёт по-прежнему, мир не перевернулся.

«Всё теперь одному...» Я жаловалась в своём дневнике, что родители больше внимания уделяют брату, ревновала. Ожгла мысль: а вдруг он прочёл?! Вдруг это как-то повлияло... И теперь мне – удвоенная любовь мамы, отца, бабушки – как его посмертный дар. И вечный укор.

Вяз с поломанными бурей ветками заглядывает в окно кухни, словно это он заглядывает мне в лицо. Я чувствую вину и груз ответственности, возрастающей с годами. Ведь я живу и за него тоже, за его непрожитую жизнь. За девочку, которую хотели назвать Маринкой, умершую за год до моего рождения. Маме объявили тогда в роддоме: «Кравченко! Ваша дочь умерла». За всех не рождённых мамой детей. Успеть бы, успеть как можно больше.

Так явственно со мною говорят
умершие, с такою полной силой,
что мне нелепым кажется обряд
прощания с оплаканной могилой.

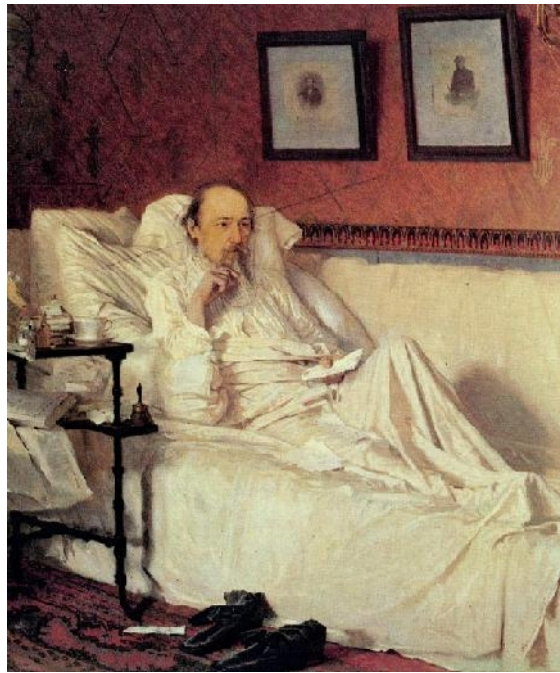
Мертвец – он, как и я, уснул и встал –
и проводил ушедших добрым взглядом...
Пока я жив, никто не умирал.
Умершие живут со мною рядом.

Это Вениамин Блаженный.

А ещё я часто вспоминаю Нину Сергеевну Могуеву, её последние письма. В одном из них, она по-матерински предостерегая меня от «стычек с этими» и высказывая пожелание, чтобы в моей новой книге было больше светлого, писала: «А в общем, я хорошо понимаю, что никакие советы ни к чему (это я о своих советах идти в осиянный храм), «стихи не пишутся – случаются». Что случится, то и будет. И не слушайте Вы старую больную бабку, которой хочется, чтобы её наболевшую душу тихонько нежили и гладили, и напевали ей сладким голосом райские песни» (5.06.04).

Эти строчки её письма у меня слились в сознании с некрасовскими строками из стихотворения «Баюшки-баю», когда в последние минуты перед смертью в полусне-полубреду к нему приходит давно умершая мать и говорит ему светлые утешительные слова, которые его измученной душе так хотелось тогда услышать:

Усни, страдалец терпеливый,
свободный, гордый и счастливый,
увидишь родину свою,
баю-баю-баю-баю.
Ещё вчера людская злоба
тебе обиду нанесла,
всему конец: не бойся гроба,
не будешь знать ты больше зла.
Не бойся клеветы, родимый,
ты заплатил ей дань живой,
не бойся стужи нестерпимой,
я схороню тебя весной.
Не бойся горького забвенья,
уж я держу в руке моей
венец любви, венец прощенья,
дар кроткой родины твоей.
Уступит свету мрак упрямый.
Услышишь песенку свою
над Волгой, над Окой, над Камой –
баю-баю-баю-баю...



Вот каких стихов подсознательно ждала от меня её измученная душа – утешающих, просветленных. А я была занята литературной борьбой, расчисткой авгиевых конюшен.

Недавно мне попала в руки последняя книга И.Алексеева «Трамвай живых». Это были уже совсем другие стихи, сильно отличающиеся от тех, что я резко критиковала три года назад в «Ангелах ада» («Тут конец перспективы»). Когда Лидия Гинзбург услышала стихи юного Бродского, она сказала А.Кушнеру: «Это серьёзно». Когда я прочла последние стихи И.Алексеева, я подумала этими же словами: «Это серьёзно».

...А человек засыпает, спасён,
от равновесий любви и разлуки.
Слышит он сквозь посторонние звуки:
«Спи, мой любимый, забудь обо всём».

Чувствуя прикосновение руки,
он распадается под одеялом,
слыша: «На нас не тарашится дьявол.
Это у страха глаза велики.

Здесь никого. Мы с тобою вдвоём.
И далеко беспощадное утро.
Мы не расстанемся ни на минуту.
Жили мы вместе. И вместе умрём».

Вновь тишина воцаряется, лишь
голос в ответ дребезжит, убывает:
«Ты говори, только так не бывает.
Так не бывает, как ты говоришь».

Странная переключка этих строк с некрасовским «Баю-баю», с «Посмертным дневником» Г.Иванова, с предсмертными стихами Р.Рождественского, Б.Рыжего. Эти поэты раскрылись во всю мощь перед лицом неотвратимой смерти. «Memento mori». Но одно дело – помнить, и другое – знать. «Верующая? Нет. Знающая из опыта» (Цветаева).

Горькая усмешка на губах. Обречённость. Мужество. И отчаянный страх. Это уже совсем другой человек. Всё наносное слетело с него, и под сброшенной маской крутизны и брутальности оказался испуганный мальчик, цепляющийся за руку любимой.

Я стараюсь не ныть и не жаловаться по мелочам.
Я даже пытаюсь пореже к тебе подходить.
Я только изредка прикасаюсь к твоим плечам,
как бы проверяя, цела ли меж нами нить.

Ты можешь задерживаться насколько угодно – я пойму.
Ты можешь даже однажды совсем не прийти.
Ты знаешь, иногда мне легче быть одному.
Есть на свете маршрут, по которому нам не по пути.

Это уже по ту сторону... Даже если бы стихи были плохи – о них нельзя было бы судить как о всех прочих. Но стихи хороши. – Нет, это тоже не то слово. Любое слово тут не то.

Сильный мужчина. Слабый мальчик. Сочувствие и жалость сменяются уважением, восхищением, благодарностью. Но «какой ценой купил он право» стать тем, кем он стал в поэзии? Ведь от строк «но мужчина я здоровый, мне без баб никак нельзя» – до этих стихов – дистанция огромного размера. Это два разных человека. Но неужели такой ценой? Боже мой, неужели только такой ценой...



И невольно думаешь: пусть бы он был тем, прежним – заносчивым, грубым, новым русским, гоняющим на «Мерседесе», трахающим баб, но живым, «живым и только», в самом буквальном смысле этого слова. Чтоб «смотреть на Небеса просто как на небеса».

Но я горжусь тем, что могу острить,
хотя, увы, довольно мрачно.
Какая-то дурацкая расплата.
Да и за что, но некого спросить.

Неужели всё это было послано ему лишь затем, чтобы он понял, что главное в человеческой жизни, и стал иным? Чтобы, как сквозь негатив, проступили его подлинные черты, о которых он сам не подозревал? Это мне напомнило рассказ Т.Толстой «Чистый лист». Он всё-таки сделал эту операцию по пересадке души. Но это – смертельно.

Спаси меня не знаю кто!
Людей таких не существует.
Утешь, угрей, накинь пальто,
мне отовсюду смертью дует.

Прекрасна тьма, небес волшба,
в сугробе яркая лачуга.
А гибель – жёсткий контур чуда,
та дверь – в которую вошла. –

писала смертельно больная Татьяна Галушко. Поэт не вмещается в прокрустово ложе земного существования. Марине Цветаевой было тесно в телесной оболочке. «В теле – как в трюме, в себе – как в тюрьме». И – совсем ясно: «Мир – это стены. Выход – топор». «Жизнь и смерть давно беру в кавычки, как заведомо пустые сплётыв». И – как итог всего – «Поэма воздуха», в которой она попыталась прикоснуться к потустороннему миру, передать ощущение от полёта в Ничто (в смерть). Она пишет её в 1927 году, в 35 лет. Поэму, которую можно было бы назвать поэмой удушья, самоубийства. Это вопль одиночества и безутешности, исторгнутый из души, которой нечем больше дышать.



a-rbi.ru

В ней Цветаева как бы репетирует свою смерть. Это потрясающее прозрение о всемогуществе духа, победившего плоть. Это самая отвлечённая и трудная для восприятия поэма Цветаевой. Ахматова назвала её «заумью». Она кажется закодированной, зашифрованной. Её фабула – цепь последовательных переходов из одного состояния, которое может испытать умирающий, – в другое, показ, что может чувствовать задыхающийся в петле человек. Каждый этап, пройденный умирающим, описан подробно, почти физиологично.

«Поэма воздуха» – это своеобразный философский трактат о посмертном блуждании духа, вобравший в себя отдельные элементы различных идеалистических систем, из Канта, В.Соловьёва, Шопенгауэра. И всё же модель мира, представленная здесь Цветаевой, – её сугубо индивидуальная поэтическая гипотеза. В её понимании мир разделён на земной, плотский и мир небесный, мир идеального несуществования, свободный от любой тяжести, в том числе и от тяжести души, ибо душа, по Цветаевой, есть вместилище чувств и желаний, связанных с землёй и плотью. Там же – мир чистой мысли, почти безжизненное отвлечённое пространство некоего мирового стерильно чистого разума.

Её манила эта тайна, неуловимая грань, отделявшая небытие от бытия. У неё всю жизнь был роман со смертью, с небытием, с запредельностью. Рано или поздно она должна была уйти. Вопрос был только в сроках.

В январе 1925 года, с нетерпением ожидая рождения горячо желанного сына, она пишет стихи о... смерти:

...Расковывает
смерть – узы мои! До скорого ведь?
Предсмертного ложа свадебного
последнее перетрагиванье.

Марина Цветаева, великий поэт, была создана природой словно бы из иного вещества: всем организмом, всем своим человеческим естеством она тянулась прочь от земных измерений в миры иные, о существовании которых знала непреложно. («Верующая? Нет. Знающая из опыта»). С ранних лет она знала и чувствовала то, чего не могли чувствовать и знать другие. Знала, что поэты – пророки, что стихи сбываются, и ещё в ранних стихах предрекала судьбу Мандельштама, Сергея Эфрона, не говоря уже о своей собственной. Это тайновидение с годами усиливалось, и существовать в общепринятом «мире мер» становилось всё труднее.

Что же это было? Вероятно, страдание живого существа, лишённого своей стихии: человеку не дано постичь мучения пойманной птицы, загнанного зверя, это страдание, непостижимое

для окружающих. Разумеется, страдание не было единственным чувством, цветаевских чувств и страстей, её феноменальной энергии хватило бы на многих и многих. Однако трагизм мироощущения поэта идёт именно от этих, не поддающихся рассудку мук.

Мятущемуся естеству Цветаевой было тяжело, душно в телесной оболочке. «Из тела вон хочу» – это не литература, это состояние. Что ей было делать «с этой безмерностью в мире мер»? Её страшный быт и высокомерное бытие, которые всю жизнь противостояли друг другу, 31 августа 1941 года слились воедино.

Уже и не светом,
каким-то свеченьем светясь...
Не в этом, не в этом
ли... И – обрывается связь.



В этом году исполнилось 170 лет со дня рождения уникального поэта Константина Случевского. Его всегда притягивала тема вечности – и в «Профессоре бессмертья», и в «Загробных песнях», и в «Песнях из «Уголка». И теперь при звуке его имени тут же вспоминается: «Меня в загробном мире знают...».



Вениамин Блаженный (Айзенштадт) ощущает и изображает смерть в своих стихах как запредельную и спасительную для живого, пребывающего в экзистенциальном тупике, область:

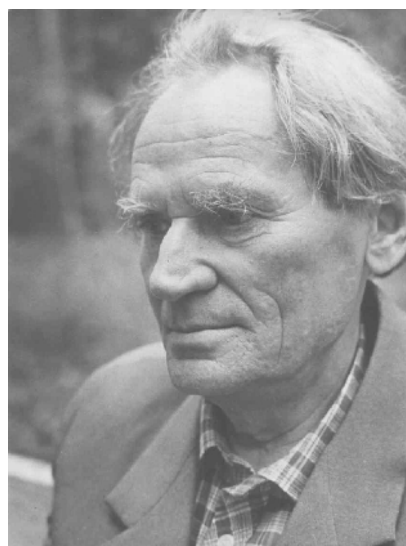
Есть у меня страна, в которую всё время
могу я улететь, как ведьма на метле.
Да только жаль, что «смерть» она зовётся всеми, —
и мне её, как всем, назвать велели смерть.



Как об избавительнице от мук пишет о смерти Борис Чичибабин в одном из самых горьких и страшных своих стихотворений «Сними с меня усталость, мать Смерть...»

Одним стихам вовек не потускнеть,
да сколько их останется, однако.
Я так устал! Как раб или собака.
Сними с меня усталость, мать Смерть.

Он приникает к ложу смерти, как блудный сын к коленям слепого отца, словно говоря: «Сними с меня всё наносное, всё мелкое, всё недостойное вечности. Сними. Вот я, весь перед тобой».



Мне книгу зла читать неволю,
а книга блага вся перелисталась.
О мать Смерть, сними с меня усталость,
накрой рядом худую наготу.

На лоб и грудь дохни своим ледком,
дай отдохнуть легко и беспробудно.
Я так устал. Мне сроду было трудно,
что всем другим привычно и легко.

Эта усталость кажется не только чичибабинской, но какой-то всечеловеческой, вековой. Это уже не слова. Это вселенский вздох.

Борис Слуцкий думал о смерти как об избавлении от безысходного одиночества, неотступающих мук. Туда толкала его боль, отчаяние.

На полуфразе, нет, на полуслове,
без предисловий и без послесловий,
на полузвуче оборвать рассказ.
Прервать его притом на полуноте,
и не затягивать до полуночи,
нет, кончить всё к полуночи как раз.



Ему вторит Борис Рыжий: «Ты меня отпусти, я живу еле-еле. //Я ничей навсегда, иудей, психопат». Он совсем не таков, каким может показаться неискушённому или невнимательному читателю. Многие поклонники таланта Рыжего, привлечённые блатной прикольной интонацией, ультрасовременной лексикой его стихов, не способны расслышать высокие регистры его голоса, различить тонкие модуляции этой поэзии, довольствуясь её поверхностным слоем. Разумеется, хулиганский жаргон и приклатнённый лирический герой Рыжего – не просто модный прикид и дань времени, что-то такое

было, конечно, в составе его крови. Но только экзистенциальная бездна, раскрывающаяся за лучшими стихами поэта – иного качественного размаха, иного масштаба.

Чтобы жизнь трещала и ломалась,
и прощалась с ней душа жива,
в небесах музыка сочинялась
вечная – на смертные слова.



В 1995 году в литературном приложении к газете «Горняк» Свердловска были впервые опубликованы стихи студента 4 курса геофизического факультета Бориса Рыжего об английском манекене в витрине ЦУМа.

И дождливый светился ЦУМ
грязно-жёлтым ночным огнём.
«Ты запомни его костюм –
я хочу умереть в таком...»

Все его стихи – о любви и о смерти. Ни о чём другом он не хотел, а может, и не умел писать.

Я умру в старом парке
на холодном ветру.
Милый друг, я умру
у разрушенной арки.
Чтобы ангелу было
через что прилететь.
Листьев рваную медь
разорвать белокрыло...



Интонация смерти есть в стихах любого крупного поэта. Но страшно, когда она овладевает им целиком. Смертяшкина не любит, когда с ней заигрывают. Рыжий дразнил страшных гусей. Он заигрался в смерть. Теперь, после его гибели, многие его строки обретают пророческий смысл, предвосхищают тот последний майский рассвет. В них отчётливо слышится упоение «страшной бездной».

Похоронная музыка
на холодном ветру.
Прижимается муза ко
мне: я тоже умру.

Отрешённость водителя,
землекопа возня.
Не хотите, хотите ли
и меня, и меня.

До отверстия в глобусе
повезут на убой
в этом жёлтом автобусе
с полосой голубой.

Но с кем бы я ни повстречался,
какая бы со мной беда,
я не кричал и не стучался
в чужие двери никогда.

Зачем – сказали б – смерть принёс ты,
накапал кровью на ковры...
И надо мной мерцали звёзды,
летели годы и миры.



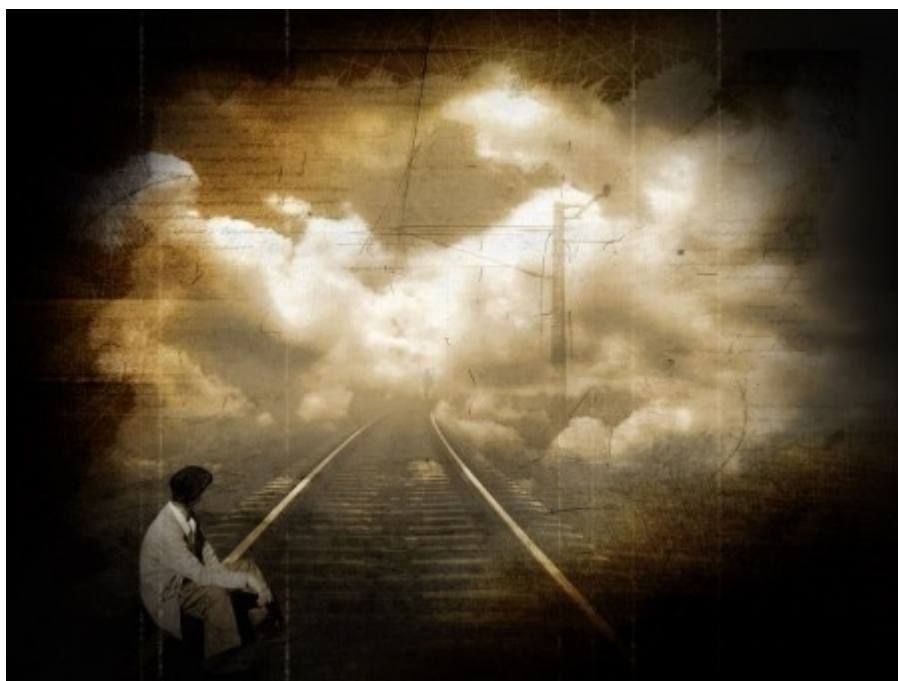
Готовность к самоубийству в Рыжем жила давно. Это решение назревало, набухало буквально на глазах. Он давно знал, что уйдёт. Непреложно знал.

Закурить, опохмелившись, поглядеть на облака,
что летят над головою из далека-далека,
в граде Екатеринбурге с гордо поднятой головой,
за туманом различая бездну смерти роковой.



В его готовности к смерти было много от цветаевского отношения к ней. Смерть была её обитель, её дом, где всё было обжито ею в мыслях, снах и стихах, всё было ей родное. На небо – значило: домой. Не «домой с небес», как у Поплавского, а домой на небеса. И у Рыжего читаем:

...И думаю: о жалкие умы,
предметы не страшатся разрушенья –
вернее, всё, что разрушаем мы –
в иное переходит измеренье.
И мне не страшно предавать словам
то чувство, что до горечи знакомо.
И я одной ногой гуляю там,
гуляя здесь и, знаешь, там я дома.



Стихи из его последней подборки в «Знамени»:

Над домами, домами, домами
голубые висят облака –
вот они и останутся с нами
на века, на века, на века.

Только пар, только белое в синем
над громадами каменных плит...
Никогда, никогда мы не сгинем,
мы прочней и нежней, чем гранит.

Пусть разрушатся наши скорлупы,
геометрия жизни земной –

оглянись, поцелуй меня в губы,
дай мне руку, останься со мной.

А когда мы друг друга покинем,
ты на крыльях своих унеси
только пар, только белое в синем,
голубое и белое в си...



Впрочем, жизнь после смерти не исключает и наука. Эту мысль развивает в своих натурфилософских поэмах Николай Заболоцкий, который, в свою очередь, аккумулировал в них идеи Вернадского, Циолковского, Филонова, Хлебникова – о кровной связи всего живого: людей, животных, растений.



Заболоцкий утверждал, что смерти не существует. В основе этого утверждения лежала мысль, что если каждый человек – часть природы, а природа в целом бессмертна, то и каждый человек бессмертен. Смерти нет, есть только превращения, метаморфозы. В стихотворении «Кузнечик» он писал:

Настанет день, и мой забвенный прах
вернётся в лоно зарослей и речек.
Заснёт мой ум, но в квантовых мирах
откроет крылья маленький кузнечик.

Довольствуясь осколком бытия,
он не поймёт, что мир его чудесный
построила живая мысль моя,
мгновенно затвердевшая над бездной.

На Заболоцкого сильное впечатление произвели слова Гёте: «Я не сомневаюсь, что наше существование будет продолжаться, ибо природе не обойтись без того, что понимают под энтелехией (целенаправленной жизненной силой). Но бессмертны мы не в равной мере, и для того, чтобы в грядущем проявить себя как великую энтелехию, надо ею быть». То есть, бессмертны те люди, которые в жизни проявили себя как творцы, мыслители, созидатели, великие личности. Их душа, их мысли, аура остаются в природе. С этими словами Гёте перекликаются стихи Заболоцкого:

Вчера, о смерти размышляя,
ожесточилась вдруг душа моя.
Печальный день! Природа вековая
из тьмы лесов смотрела на меня.
И нестерпимая тоска разъединенья
пронзила сердце мне, и в этот миг
всё, всё услышал я – и трав вечерних пенье,
и речь воды, и камня мёртвый крик.

И я, живой, скитался над полями,
входил без страха в лес,
и мысли мертвецов прозрачными столбами
вокруг меня вставали до небес.
И голос Пушкина был над листвою слышен,
и птицы Хлебникова пели у воды.
И встретил камень я. Был камень неподвижен,
и проступал в нём лик Сковороды.
И все существованья, все народы
нетленное хранили бытиё,
и сам я был не детище природы,
но мысль её! Но зыбкий ум её!



Идея метаморфоз и бессмертия занимала Заболоцкого ещё в юные годы и возникла под влиянием сочинений Лукреция и Гёте. Он отрицал принципиальное различие между живой и неживой материей – и та, и другая в равной степени составляет целостный организм природы. Пока существует этот необъятный организм, человек, носитель его разума, орган его мышления, не может исчезнуть бесследно. Посмертно растворившись в природе, он возникает в любой её части – в листе дерева, птице, камне – передавая им хотя бы в небольшой степени свои индивидуальные черты и соединяясь в них со всеми живущими ранее. А с другой стороны в процессе своей жизни человек объединяет в себе все предшествующие формы бытия. В человеке – весь мир, но и человек – во всём мире. Заболоцкий писал об этом в стихотворении «Метаморфозы»:

Как мир меняется! И как я сам меняюсь!
Лишь именем одним я называюсь, –
на самом деле то, что именуют мной, –
не я один. Нас много, я живой.
Чтоб кровь моя остынуть не успела,
я умирал не раз. О, сколько мёртвых тел
я отделил от собственного тела!
И если б только разум мой прозрел
и в землю устремил пронзительное око,
он увидал бы там, среди могил, глубоко
лежащего – меня! Он показал бы мне –
меня, колеблемого на морской волне,
меня, летящего по ветру в край незримый, –
мой бедный прах, когда-то так любимый,
а я всё жив!



Жизнь, переливаясь из формы в форму посредством материальных превращений, не теряет своих основных свойств, а проявляет их в каждой форме. Мир подобен сложному организму, в котором каждая клетка несёт информацию о строении целого. Вот почему, например, в птице можно различить человека:

Вращая круглым глазом из-под век,
летит внизу большая птица.
В её движенье чувствуется человек,
по крайней мере, он таится
в своём зародыше меж двух широких крыл.

А в кристалле уже предсуществует человеческая мысль:

Я на земле моей впервые мыслить стал,
когда почувал жизнь безжизненный кристалл.

То есть человек начинает жить задолго до рождения. («Я разве только я? Я – только краткий миг //чужих существований..»).

Николай Чуковский, с которым Заболоцкий как-то поделился своими сокровенными мыслями о бессмертии, иронически к ним отнёсся и даже попытался в пародийном стихотворении разоблачить, с его точки зрения, эти беспочвенные иллюзии. Он думал, что Заболоцкий боится смерти и все его философские построения предназначены только для того, чтобы обрести защиту от этих страхов. На самом деле взгляды поэта были далеко не столь утилитарны. В один из последних своих дней он спокойно говорил жене: «Ещё и не такие люди, как я, умирали. Природа не зря создала

человека, и природа не допустит, чтобы её лучшие творения исчезали бесследно».

Подобно Заболоцкому, В.Блаженный, заранее обживая будущую смерть, творит гарантию личного бессмертия (простодушный вариант пушкинского «Нет, весь я не умру...»):

Я не вовсе ушёл, я оставил себя в каждом облике –
вот и недруг, и друг, и прохожий ночной человек, –
всё во мне, всюду я – на погосте, на свалке, на облаке, –
я ушёл в небеса – и с живыми остался навек.

Я поверю, что мёртвых хоронят, хоть это нелепо,
я поверю, что жалкие кости истлеют во мгле,
но глаза – голубые и карие отблески неба,
разве можно поверить, что небо хоронят в земле?..

Было небо тех глаз грозовым или было безбурным,
было радугой-небом или горемычным дождём, –
но оно было небом, глазами, слезами – не урной,
и не верится мне, что я только на гибель рождён!

...Я раскрою глаза из могильного тёмного склепа,
ах, как дорог им свет, как по небу душа извелась, –
и струится в глаза мои мёртвые вечное небо,
и блуждает на небе огонь моих плачущих глаз...